

## ЗАДАНИЯ

для отборочного этапа олимпиады школьников Союзного государства «Россия и Беларусь: историческая и духовная общность» в 2016 году

Тексты для написания отзыва

### Поэзия

#### 1. Иван Захарович Суриков

##### У могилы матери

Спишь ты, спишь, моя родная,  
Спишь в земле сырой.  
Я пришел к твоей могиле  
С горем и тоской.

Я пришел к тебе, родная,  
Чтоб тебе сказать,  
Что теперь уже другая  
У меня есть мать;

Что твой муж, тобой любимый,  
Мой отец родной,  
Твоему бедняге сыну  
Стал совсем чужой.

Никогда твоих, родная,  
Слов мне не забыть:  
«Без меня тебе, сыночек,  
Горько будет жить!

Много, много встретишь горя,  
Мой родимый, ты;  
Много вынесешь несчастья,  
Бед и нищеты!»

И слова твои сбылися,  
Все сбылись они.  
Встань ты, встань, моя родная,  
На меня взгляни!

С неба дождик льет осенний,  
Холодом знобит;  
У твоей сырой могилы  
Сын-бедняк стоит.  
В старом, рваном сюртучишке,  
В ветхих сапогах;  
Но всё так же тверд, как прежде,  
Слез нет на глазах.

Знают то судьба-злодейка,  
Горе и беда,  
Что от них твой сын не плакал  
В жизни никогда.

Нет, в груди моей горячей  
Кровь еще горит,  
На борьбу с судьбой суровой  
Много сил кипит.

А когда я эти силы  
Все убью в борьбе  
И когда меня, родная,  
Принесут к тебе, —

Приюти тогда меня ты  
Тут в земле сырой;  
Буду спать я, спать спокойно  
Рядышком с тобой.

Будет солнце надо мною  
Жаркое сиять;  
Будут звезды золотые  
Во всю ночь блистать;

Будет ветер беспокойный  
Песни свои петь,  
Над могилой серебристой  
Тополью шуметь;

Будет вьюга надо мною  
Плакать, голосить...  
Но напрасно — сил погибших  
Ей не разбудить.

## 2. Николай Алексеевич Некрасов

### Мысль

Спит дряхлый мир, спит старец обветшалый,  
 Под грустной тению ночного покрывала,  
 Едва согрет остатками огня  
 Уже давно погаснувшего дня.  
 Спи, старец, спи!.. отрадного покоя  
 Минуты усладят заботы седины  
 Воспоминанием минувшей старины...  
 И, может быть, в тебе зажжется ретивое  
 Огнем страстей, погаснувших давно,  
 И вспыхнет для тебя прекрасное былое!..  
 И, может быть, распухнет зерно  
 В тебе давно угасшей жизни силы,  
 И новой жизнью заглохшие могилы,  
 Печальный мир, повеют над тобой!  
 И снова ты проснешься от дремоты,  
 И снова, юноша с пылающей душой,  
 Забудешь старые утраченные годы  
 И будешь жить ты жизнью молодой,  
 Как в первый день создания природы!  
 .....  
 .....  
 Нет! тот же всё проснулся ты,  
 Такой же дряхлый, обветшалый,  
 Еще дряхлей без покрывала...  
 Скрой безобразье наготы  
 Опять под мрачной ризой ночи!  
 Поддельным блеском красоты  
 Ты не мои обманешь очи!..

## 3. Владимир Александрович Луговской

### Мальчики играют на горе

Мальчики заводят на горе  
 Древние мальчишеские игры.  
 В лебеде, в полынном серебре  
 Блещут зноем маленькие икры.

От заката, моря и весны  
 Золотой туман ползет по склонам.  
 Опустись, туман, приляг, усни  
 На холме широком и зеленом.

Белым, розовым цветут сады,  
 Ходят птицы с черными носами.  
 От великой штилевой воды  
 Пахнет холодком и парусами.

Всюду ровный, непонятный свет.  
 Облака спустились и застыли.  
 Стало сниться мне, что смерти нет —  
 Умерла она, лежит в могиле,

И по всей земле идет весна,  
 Охватив моря, сдвигая горы,  
 И теперь вселенная полна  
 Мужества и ясного простора.

Мальчики играют на горе  
 Чистою весеннею порою,  
 И над ними,  
     в облаках,  
             в зоре  
 Кружится орел —  
     собрат героя.

Мальчики играют в легкой мгле.  
 Сотни тысяч лет они играют.  
 Умирают царства на земле —  
 Детство никогда не умирает.

#### **4. Семен Исаакович Кирсанов**

##### **Я бел, любимая**

Я бел, любимая.  
 Я — мел, который морем был  
 И рыб и птиц имел и побелел.

Я меловой период.  
В глубине есть отпечатки раковин на мне.  
Моя ладонь, и та  
Лишь оттиск допотопного листа.  
А ты — начало.  
Ты полет стрекоз.  
Ты всплеск летучих рыб.  
Ты небо первых гроз.  
Ты только что начавшаяся жизнь.  
Ты радуга, ты первая из призм.  
Ты только что открытые глаза.  
Ты водопад из золота волос.  
Ты вылет первых ос.

## 5. Юнна Петровна Мориц

### Пасека жизни

Ночь прилетает пчёлками звёзд,  
Мёдом небесным полна глубина,  
Мёдом луны золотится волна,  
Мёдом волны отражается мост,  
Мёд фонарей в стеклоте пузырей, —  
Пасека жизни мёдом полна,  
Мёд отражений, свет из окна  
В нём отражается!.. Это — она,  
Пасека жизни, створчатый воск  
С творческих створок, скороговорок  
С мёдом небесным — сквозь мрак или морок,  
С мёдом луны, что задаром, за так  
Пасечник Бог раздаёт человекам,  
Жизни волокнам, окнам и рекам,  
С творческих створок — сквозь морок и мрак!

## Проза

### 1. Николай Семенович Лесков

#### Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе

##### Глава первая

Когда император Александр Павлович окончил венский совет, то он захотел по Европе проездиться и в разных государствах чудес посмотреть. Объездил он все страны и везде через свою ласковость всегда имел самые междоусобные разговоры со всякими людьми, и все его чем-нибудь удивляли и на свою сторону преклонять хотели, но при нем был донской казак Платов, который этого склонения не любил и, скучая по своему хозяйству, все государя домой манил. И чуть если Платов заметит, что государь чем-нибудь иностранным очень интересуется, то все провожатые молчат, а Платов сейчас скажет: так и так, и у нас дома свое не хуже есть, — и чем-нибудь ответит.

Англичане это знали и к приезду государеву выдумали разные хитрости, чтобы его чужестранностью пленить и от русских отвлечь, и во многих случаях они этого достигали, особенно в больших собраниях, где Платов не мог по-французски вполне говорить; но он этим мало и интересовался, потому что был человек женатый и все французские разговоры считал за пустяки, которые не стоят воображения. А когда англичане стали звать государя во всякие свои цейгаузы, оружейные и мыльно-пильные заводы, чтобы показать свое над нами во всех вещах преимущество и тем славиться, — Платов сказал себе:

— Ну уж тут шабаш. До этих пор еще я терпел, а дальше нельзя. Сумею я или не сумею говорить, а своих людей не выдам.

И только он сказал себе такое слово, как государь ему говорит:

— Так и так, завтра мы с тобою едем их оружейную кунсткамеру смотреть. Там, — говорит, — такие природы совершенства, что как посмотришь, то уже больше не будешь спорить, что мы, русские, со своим значением никуда не годимся.

Платов ничего государю не ответил, только свой грабоватый нос в лохматую бурку спустил, а пришел в свою квартиру, велел денщику подать из погребца фляжку кавказской водки-кислярки\*, дерябнул хороший стакан, на дорожный складень богу помолился, буркой укрылся и захрапел так, что во всем доме англичанам никому спать нельзя было.

Думал: утро ночи мудренее.

### 2. Валентин Петрович Катаев

#### Сын полка

*Посвящается  
Жене и Павлику Катаевым*

\* Кизлярки. (Прим. автора.)

## 1

Была самая середина глухой осенней ночи. В лесу было очень сыро и холодно. Из черных лесных болот, заваленных мелкими коричневыми листьями, поднимался густой туман.

Луна стояла над головой. Она светила очень сильно, однако ее свет с трудом пробивал туман. Лунный свет стоял подле деревьев косыми, длинными тесинами, в которых, волшебным образом изменяясь, плыли космы болотных испарений.

Лес был смешанный. То в полосе лунного света показывался непроницаемо черный силуэт громадной ели, похожий на многоэтажный терем; то вдруг в отдалении появлялась белая колоннада берез; то на прогалине, на фоне белого, лунного неба, распавшегося на куски, как простокваша, тонко рисовались голые ветки осин, уныло окруженные радужным сиянием.

И всюду, где только лес был пореже, лежали на земле белые холсты лунного света.

В общем, это было красиво той древней, дивной красотой, которая всегда так много говорит русскому сердцу и заставляет воображение рисовать сказочные картины: серого волка, несущего Ивана-царевича в маленькой шапочке набекрень и с пером Жар-птицы в платке за пазухой, огромные мшистые лапы лешего, избушку на курьих ножках — да мало ли еще что!

Но меньше всего в этот глухой, мертвый час думали о красоте полесской чащи три солдата, возвращавшиеся с разведки.

Больше суток провели они в тылу у немцев, выполняя боевое задание. А задание это заключалось в том, чтобы найти и отметить на карте расположение неприятельских сооружений.

Работа была трудная, очень опасная. Почти все время пробирались ползком. Один раз часа три подряд пришлось неподвижно пролежать в болоте — в холодной, вонючей грязи, накрывшись плащ-палатками, сверху засыпанными желтыми листьями.

Обедали сухарями и холодным чаем из фляжек.

Но самое тяжелое было то, что ни разу не удалось покурить. А, как известно, солдату легче обойтись без еды и без сна, чем без затяжки добрым, крепким табачком. И, как на грех, все три солдата были заядлые курильщики.

Так что, хотя боевое задание было выполнено как нельзя лучше и в сумке у старшего лежала карта, на которой с большой точностью было отмечено более десятка основательно разведанных немецких батарей, разведчики чувствовали себя раздраженными, злыми.

Чем ближе было до своего переднего края, тем сильнее хотелось курить. В подобных случаях, как известно, хорошо помогает крепкое словечко или веселая шутка. Но обстановка требовала полной тишины. Нельзя было не только перебраться словечком — даже высморкаться или кашлянуть: каждый звук раздавался в лесу необыкновенно громко.

Луна тоже сильно мешала. Идти приходилось очень медленно, гуськом, метрах в тринадцать друг от друга, стараясь не попадать в полосы лунного света, и через каждые пять шагов останавливаться и прислушиваться.

Впереди пробирался старшой, подавая команду осторожным движением руки: поднимет руку над головой — все тотчас останавливались и замирали; вытянет руку в сторону с наклоном к земле — все в ту же секунду быстро и бесшумно ложились; махнет рукой вперед — все двигались вперед; покажет назад — все медленно пятились назад.

Хотя до переднего края уже оставалось не больше двух километров, разведчики продолжали идти все так же осторожно, осмотрительно, как и раньше. Пожалуй, теперь они шли еще осторожнее, останавливались чаще.

Они вступили в самую опасную часть своего пути.

Вчера вечером, когда они вышли в разведку, здесь еще были глубокие немецкие тылы. Но обстановка изменилась. Днем, после боя, немцы отступили. И теперь здесь, в этом лесу, по-видимому, было пусто. Но это могло только так казаться. Возможно, что немцы оставили здесь своих автоматчиков. Каждую минуту можно было наскочить на засаду. Конечно, разведчики — хотя их было только трое — не боялись засады. Они были осторожны, опыты и в любой миг готовы принять бой. У каждого был автомат, много патронов и по четыре ручных гранаты. Но в том-то и дело, что бой принимать нельзя было никак. Задача заключалась в том, чтобы как можно тише и незаметнее перейти на свою сторону и поскорее доставить командиру взвода управления драгоценную карту с засеченными немецкими батареями. От этого в значительной степени зависел успех завтрашнего боя. Все вокруг было необыкновенно тихо. Это был редкий час затишья. Если не считать нескольких далеких пушечных выстрелов да коротенькой пулеметной очереди где-то в стороне, то можно было подумать, что в мире нет никакой войны.

Однако бывалый солдат сразу заметил бы тысячи признаков того, что именно здесь, в этом тихом, глухом месте, и притаилась война.

Красный телефонный шнур, незаметно скользнувший под ногой, говорил, что где-то недалеко — неприятельский командный пункт или застава. Несколько сломанных осин и помятый кустарник не оставляли сомнения в том, что недавно здесь прошел танк или самоходное орудие, а слабый, не успевший выветриться, особый, чужой запах искусственного бензина и горячего масла показывал, что этот танк или самоходное орудие были немецкими.

В некоторых местах, тщательно обложенных еловыми ветками, стояли, как поленницы дров, штабеля мин или артиллерийских снарядов. Но так как не было известно, брошены ли они или специально приготовлены к завтрашнему бою, то мимо этих штабелей нужно было пробираться с особенной осторожностью.

Изредка дорогу преграждал сломанный снарядом ствол столетней сосны. Иногда разведчики натыкались на глубокий, извилистый ход сообщения или на основательный командирский блиндаж, накатов в шесть, с дверью, обращенной на запад. И эта дверь, обращенная на запад, красноречиво говорила, что блиндаж немецкий, а не наш. Но пустой ли он или в нем кто-нибудь есть, было неизвестно.

Часто нога наступала на брошенный противогаз, на раздавленную взрывом немецкую каску. В одном месте на полянке, озаренной дымным лунным светом,



разведчики увидели среди раскиданных во все стороны деревьев громадную воронку от авиабомбы. В этой воронке валялось несколько немецких трупов с желтыми лицами и синими провалами глаз.

Один раз взлетела осветительная ракета; она долго висела над верхушками деревьев, и ее плывущий голубой свет, смешанный с дымным светом луны, насквозь озарил лес. От каждого дерева протянулась длинная резкая тень, и было похоже, что лес вокруг стал на ходули. И пока ракета не погасла, три солдата неподвижно стояли среди кустов, сами похожие на полуоблетевшие кусты в своих пятнистых, желто-зеленых плащ-палатках, из-под которых торчали автоматы. Так разведчики медленно подвигались к своему расположению.

Вдруг старшой остановился и поднял руку. В тот же миг другие тоже остановились, не спуская глаз со своего командира. Старшой долго стоял, откинув с головы капюшон и чуть повернув ухо в ту сторону, откуда ему почудился подозрительный шорох. Старшой был молодой человек лет двадцати двух. Несмотря на свою молодость, он уже считался на батарее бывалым солдатом. Он был сержантом. Товарищи его любили и вместе с тем побаивались.

Звук, который привлек внимание сержанта Егорова — такова была фамилия старшого, — казался очень странным. Несмотря на всю свою опытность, Егоров никак не мог понять его характер и значение.

«Что бы это могло быть?» — думал Егоров, напрягая слух и быстро перебирая в уме все подозрительные звуки, которые ему когда-либо приходилось слышать в ночной разведке.

«Шепот! Нет. Осторожный шорох лопаты? Нет. Повизгивание напильника? Нет». Станный, тихий, ни на что не похожий прерывистый звук слышался где-то совсем недалеко, направо, за кустом можжевельника. Было похоже, что звук выходит откуда-то из-под земли.

Послушав еще минуту-другую, Егоров, не оборачиваясь, подал знак, и оба разведчика медленно и бесшумно, как тени, приблизились к нему вплотную. Он показал рукой направление, откуда доносился звук, и знаком велел слушать.

Разведчики стали слушать.

— Слышать? — одними губами спросил Егоров.

— Слышать, — так же беззвучно ответил один из солдат.

Егоров повернул к товарищам худощавое темное лицо, уныло освещенное луной. Он высоко поднял мальчишеские брови.

— Что?

— Не понять.

Некоторое время они втроем стояли и слушали, положив пальцы на спусковые крючки автоматов. Звуки продолжались и были так же непонятны. На один миг они вдруг изменили свой характер. Всем троим показалось, что они слышат выходящее из земли пение. Они переглянулись. Но тотчас же звуки сделались прежними.

Тогда Егоров подал знак ложиться и лег сам животом на листья, уже поседевшие от инея. Он взял в рот кинжал и пополз, бесшумно подтягиваясь на локтях, по-пластунски.

Через минуту он скрылся за темным кустом можжевельника, а еще через минуту, которая показалась долгой, как час, разведчики услышали тонкое

посвистывание. Оно обозначало, что Егоров зовет их к себе. Они поползли и скоро увидели сержанта, который стоял на коленях, заглядывая в небольшой окопчик, скрытый среди можжевельника.

Из окопчика явственно слышалось бормотание, всхлипывание, сонные стоны.

Без слов понимая друг друга, разведчики окружили окопчик и растянули руками концы своих плащ-палаток так, что они образовали нечто вроде шатра, не пропускавшего свет. Егоров опустил в окоп руку с электрическим фонариком.

Картина, которую они увидели, была проста и вместе с тем ужасна.

В окопчике спал мальчик.

Стиснув на груди руки, поджав босые, темные, как картофель, ноги, мальчик лежал в зеленой вонючей луже и тяжело бредил во сне. Его непокрытая голова, заросшая давно не стриженными, грязными волосами, была неловко откинута назад. Худенькое горло вздрагивало. Из провалившегося рта с обметанными лихорадкой, воспаленными губами вылетали сильные вздохи.

Слышалось бормотание, обрывки неразборчивых слов, всхлипывание. Выпуклые веки закрытых глаз были нездорового, малокровного цвета. Они казались почти голубыми, как снятое молоко. Короткие, но густые ресницы слиплись стрелками.

Лицо было покрыто царапинами и синяками. На переносице виднелся сгусток запекшейся крови.

Мальчик спал, и по его измученному лицу судорожно пробежали отражения кошмаров, которые преследовали мальчика во сне. Каждую минуту его лицо меняло выражение. То оно застывало в ужасе; то нечеловеческое отчаяние искажало его; то резкие глубокие черты безысходного горя прорезывались вокруг его впалого рта, брови поднимались домиком и с ресниц катились слезы; то вдруг зубы начинали яростно скрипеть, лицо делалось злым, беспощадным, кулаки сжимались с такой силой, что ногти впивались в ладони, и глухие, хриплые звуки вылетали из напряженного горла. А то вдруг мальчик впадал в беспамятство, улыбался жалкой, совсем детской и по-детски беспомощной улыбкой и начинал очень слабо, чуть слышно петь какую-то неразборчивую песенку.

Сон мальчика был так тяжел, так глубок, душа его, блуждающая по мукам сновидений, была так далека от тела, что некоторое время он не чувствовал ничего: ни пристальных глаз разведчиков, смотревших на него сверху, ни яркого света электрического фонарика, в упор освещавшего его лицо.

Но вдруг мальчика как будто ударило изнутри, подбросило. Он проснулся, вскочил, сел. Его глаза дико блеснули. В одно мгновение он выхватил откуда-то большой отточенный гвоздь. Ловким, точным движением Егоров успел перехватить горячую руку мальчика и закрыть ему ладонью рот.

— Тише. Свои,— шепотом сказал Егоров.

Только теперь мальчик заметил, что шлемы солдат были русские, автоматы — русские, плащ-палатки — русские, и лица, наклонившиеся к нему, — тоже русские, родные.

Радостная улыбка бледно вспыхнула на его истощенном лице. Он хотел что-то сказать, но сумел произнести только одно слово:

— Наши...

И потерял сознание.

### 3. Борис Константинович Зайцев

#### Чехов

##### Даль времен

Какая-то Ольховатка, воронежская глушь в Острогожском уезде, места дикие и бескрайние. Лишь с XVII века начинают они заселяться. И вот к XVIII возникает имя, первое в народной тьме: Евстратий Чехов, поселенец-землепашец в этой Ольховатке, пришедший с севера. Все тут легендарно, начиная с имени Евстратий. И патриархально, полно сил, просто мощи природной. Евстратий и основал династию Чеховых, крестьян, связанных с землею и народом неразрывно, — в пяти поколениях свыше полутора ста Чеховых. В Ольховатке стало тесно, но вокруг простор, Чеховы распространяются все дальше, и все те же особенные имена у них: Емельян, Евфросиния, но есть и проще, Михаил, Егор. Занимаются они земледелием и становятся крепостными. Род, во всяком случае, своеобразный, с уклоном иногда и необычным: внук Евстратия Петр бросил все и пошел странствовать, собирая на построение храма — храм и построил в Киеве. А племянник его Василий стал иконописцем: сельское хозяйство не занимало его.

Все это многосемейно, долговечно, с прочным, суровым укладом, от нежности и чувствительности далеко. Глава семьи в ней владыка. «Михаил Емельянович ходил всегда с большим посохом, медленной степенной походкой. Дожил он до глубокой старости» — так говорит семейный архив. Власть его над домашними была безгранична.

Легендарный туман редет с Егора Михайлыча, его сына. Это уже дед Антона Павловича. Он крепостной, принадлежит помещику графу Черткову, чей отпрыск позже встретился с другим графом, Толстым, и сыграл в жизни его такую роль.

Егор Михайлович земледельцем не сделался, а поступил на сахарный завод Черткова, там и отбывал «триденщину». Потом стал приказчиком, позже завел даже свои торговые дела. Всем трем сыновьям, из которых Павел и был отцом «нашего» Чехова, дал он образование и выкупил всю семью из крепости. На дочь не хватило средств. Чертков отпустил ее в придачу: Егор Михайлыч был настолько прочный, уважаемый и честный человек, что естественно получил это увенчание.

Сам же, на старости лет, обратился в управляющего имением наследницы атамана Платова, героя Отечественной войны. Имение это находилось в шестидесяти верстах от Таганрога. В Таганроге купил он небольшой дом и записался в мещане города Ростова, но ни в Ростове, ни в Таганроге не жил. Там поселился его сын Павел. В Таганроге же этом, в лето от Рождества Христова 1860-е, явился в наш мир Чехов Антон, сын Павла Егорыча. Ему-то и надлежало прославить не только род суровых и богобоязненных Чеховых, но и некрасивый город Таганрог, а в летописях европейской литературы — великую свою Родину.

\* \* \*

Наверно, в юности Павел Егорыч был красив. Даже на поздних фотографиях у него открытое, прямодушное и правильное, «чистое» лицо, в большой бороде изящная проседь. Облик скорее привлекательный, но не без строгости и упорства. Просматривая книгу бытия его, узнаешь, что таков приблизительно он и был.

Не легок и не очень прост. Вот устраивает его Егор Михайлович счетоводом к таганрогскому купцу Кобылину. Павлу всего девятнадцать лет, он, разумеется, очень добросовестный счетовод — недобросовестным и нельзя было быть в семье Чеховых, но под обыденщиной этой живет в нем и другое, от обыденности далекое. Позже откроет он в Таганроге лавочку, будет торговать там сельдями и керосином, сахаром и деревянным маслом, но его тянет и совсем к другому. Он очень религиозен, любит церковное пение, сам поет и умеет управлять хором. Играет на скрипке, отлично рисует, пишет иконы.

Спустя много лет скажет его знаменитый сын: «чужая душа потемки». Глядя на бодрое, почти веселое — даже на старческом портрете — лицо Павла Егорыча, не подумаешь, что счетовод таганрогский, служащий купца Кобылина, мог заказать себе печатку, где было выгравировано: «Одинокому везде пустыня».

Когда отец увидел ее у него, он сказал:

— Павла надо женить.

И женили. Был ли это брак по любви, или «тятенька приказали», только в 1854 году Павел Егорыч, все еще служа у Кобылина, женился на девице Евгении Яковлевне Морозовой, дочери моршанского купца Морозова (в Таганрог Евгения Яковлевна с матерью и сестрой попала случайно, из-за несчастий в семье).

Излечила ли Павла Егорыча молодая жена от одиночества, неизвестно. Брак же оказался основательным, по тем временам считался, вероятно, счастливым. Но, конечно, легким не был — из-за характера мужской половины: резкого, властного, горячего. Да и весь склад семейной жизни был тогда таков, особенно в купеческо-мещанской среде, — муж владыка неограниченный, «Домострой» в полной силе.

Евгения Яковлевна была тише, мягче и сердечнее мужа. Образования не ахти какого, высоко-религиозная и безответная, много читавшая и всегда добивавшаяся, чтобы детей учить хорошо. Муж любил ее, но терпеть ей от него приходилось немало. Ее образ кроткою тенью прошел чрез всю жизнь Антона Павловича. Вспоминая худенькую, приветливую старушку в Мелихове во времена моей юности, думаю, что Евгения Яковлевна и была обликом истинной матери. Такой и должна быть мать. Она научает невидимо, просто собою, излучением света, кротости и добра.

#### **4. Сигизмунд Доминикович Кржижановский**

##### **Прикованный Прометеем**

Факт, сообщаемый ниже, не включен в книги по истории: черепичная кровля и каменные стены маленького домика, в котором он произошел, позаботились защитить факт от стилоса, не то бы стилос передал эту историю гусиному перу, гусиное перо пересказало бы стальному перу, стальное перо — свинцовым буквам

типографщика. Притом факту повезло: он возник и изник темною февральскою ночью, когда все, кроме ветра да песчинок, шевелящихся внутри стеклянных часов, крепко спали, в их числе и историк.

Итак, за стенами дома, врытого в почву Афин, в полустадии от восточных ворот, на исходе зимы третьего года LXXIX Олимпиады шестидесятилетний старик Эсхил, сидя у стола, дописывал «Прометея, принесшего огонь». Оставалось стихов сорок–пятьдесят, антистрофа и заключительная песнь хора. Поэт упрямо боролся со снами: маленькие сны и снишки, уцепившись, что было мочи, за ресницы поэта, тянули ему веки книзу — поэт же пробовал поднять их кверху. Близились весенние Дионисии. Надо было кончить трагедию возможно скорее.

Придвинув новую вощенку поближе к желтому языку огня, качающемуся в медной светильне, он взял было в руку стилос. Но проказливые сны, уцепившись за пальцы, разжали их: с легким звоном стилос упал на пол. Свесив руку, запрокинув голову, с полуоткрытым ртом — старец уснул.

Бодрствовал только огонь. Огню было скучно: покачался на тонкой сине-желтой ножке вправо-влево, потянулся изогнутым жалом вверх, подмигнул неповоротливой тьме и затем, наклонившись над вощенной табличкою, стал от нечего делать всматриваться в царапины. Судя по длине строк, по размещению букв, это была какая-то писанная пятистопным ямбом трагедия. Сначала было неинтересно. Огонь шатнулся было желтым телом назад. Но тут же рядом белели и другие тронутые стилосом вощенки. Буква за буквой, строка к строке — и вдруг огонь, нервно дернувшись из устья светильни, с расширенными желтыми глазами, наклонился над одной из табличек так низко, что легкий восковой налет ее начал таять: там, среди путаницы слов, Огонь ясно различил свое имя. Трудно было связать разбросанные строки. Но старик не просыпался; черная ночь, овитая в ветры, длилась и длилась, и понемногу, знак за знаком, слово за словом, глаза Огня ссучили строки в единую нить. Таблицы рассказывали о боге Прометее, похитившем с неба огонь («То-то меня всегда тянет ввысь», — подумал читатель). «Огонь ранее жил лишь среди бессмертных, — читал он. — Теперь стал достоянием людей». Прометею грозит кара; в длинном монологе Зевса исчислялись пытки, грозящие похитителю: изгнание, распятие на выступе скалы, скармливание Зевесу орлу, слетающему с Олимпа, печени несчастного. За строками чуялось: стилос — против клюва; Эсхил — против Зевеса; сострадание — против страдания. Каждая буква человека говорила карающему: «Нет».

Но Огонь весь трепетал от негодования:

— Так вот кто сорвал с меня синюю звездную одежду и облачил в эти грязно-желтые лохмотья. О Прометей! О нечестивый вор, будь проклят! Ты говоришь, Зевес, он пострадает; но если ты умел создать мир, почему ты не умеешь создать кару нечестивцу? Ранящий выступ скалы, клюв коршуна — мало. Взгляни на меня, о Зевес: за что мне, ни в чем перед тобою не повинному, посланы муки, перед которыми все твои кары — ничто? Подумай: мне — седмиустному Пламени, ясноокому Πυρός\*, небожителю, блистающему среди небожителей, — быть брошену сюда, на черную землю, к людям, бороться с мраком их пещер, униженно ползать по

\* Огня (греч.).

сучьям и поленьям, вымаливая в пищу капли масла и ветви сухого хвороста; служить грязным, дрожащим от холода и страха тьмы животным; тлеть на их грубых алтарях и треножниках; спать, зарывшись в золу из печей и жаровен. Пусть он, обидчик, прикован к камням — поделом; но за что прикован я, за что мое звездное тело прижато кирпичами ко днищам их очагов? О, горе, горе святотатцам! Горе земле, похитившей меня!

Отчаянным рывком Огонь попробовал оторваться, взвиться ввысь пламенеющим блеском, но раскаленный край медной светильни крепко держал его, не отдавая небу. Синие искры зажглись внутри пламени: рванувшись еще раз, Огонь лизнул острым жалом край деревянной дощечки.

— Глупый человек, — зашипел он, — спит. Доверился блику лампы, а вот я встаю во весь свой рост, одетый в сверкание искр, скованный, но мстящий земле бог. Ты, сонная тварь, не приносишь мне жертв, — и вот я сам приношу себе жертву: имя мое Пожар, подножие мне — не край лампы, а твой дом, твоя жизнь.

Краешек воценки зашевелился, выгнулся, затлел, но в тот же миг Огонь резко качнулся вспять: «Но если сгорит дом, — никто, нигде и никогда, ни там, у светил, ни здесь, у светилен, не вспомнит о моих страданиях, не затоскует моею тоскою, ни на земле, ни в небе не прозвучит ни слова, не напишется ни буквы о моей судьбе. Нет».

Старец спал. Взволнованные блики огня дрожали на его покойном, точно в два сна одетом лице; оно, с закрытыми очами, точно гляделось в какую-то глубь. Огонь впервые видел, вытянувшись к краю стола, лицо старца: серебряная его борода легла на теплую коричневую ткань зимней тоги; ряды морщин на челе, точно строки, вписанные ступившимся стилосом; выпуклые твердые жилы на обнажившейся руке; короткое и слабое дыхание.

— Скоро умрет, — затеплилось что-то в Огне, — еще не кончит трагедии. Бедный старик. Но почему ты, убогое человечье существо, назвало свой стих не моим лучезарным именем, а темным именем вора и нарушителя правд? Разве я не прикован, как и он? Разве я не разлучен с небесами, как и он? Разве не я здесь мерцаю над твоими строками, защищая их от тьмы! Разве не я, божественный Пёр, грею твоё старое, холодеющее тело! О человек, глупое, бедное разумом существо, — и ты не можешь мне подарить всех твоих слов, царапанных по воску: я мог бы растопить их, сжечь и их, и тебя, и твоё жилище, и всю твою землю, — но вот служу вам, одетый в желтые одежды раба, укрытый в серый плащ из пепла, — я, страдающий бог, похищенный у звезд и отданный кирпичным очагам, я, светлейший из светлых, — Пёр. Были миги — я горел в зигзаге молнии, брошенной десницею Зевеса с неба на землю; теперь таюсь, все тот же, в кривых царапинах твоего стилоса, брошенных землею в небо.

Смолк. И великая сладостная жалость к себе овладела Огнем, он закачался от боли, обжигая семью устами своими края грубой бронзовой светильни. Синие искры замерцали ярче внутри желтого обвода пламени, что-то обожгло Огонь изнутри, точно родился в нем огонь огня, что-то ужалило в глаз и вдруг... Огонь заплакал. Это было необычайно: Огонь плакал — синими прозрачными слезами, стекавшими к краю раскаленной светильни и с легким шипом растворявшимися в воздухе. Огонь плакал, безутешно раскачиваясь на шаткой, тонкой ножке, и медленно тушил себя

самого своими же слезами. Качнулась сонная Тьма: подползла к самым строкам — посмотреть, в чем дело, — и прикрыла строки. Осмелев, попробовала и дальше. Качнувшись никнущим синим тельцем своим, Огонь сделал последнее усилие и, оттолкнув Тьму, бросил луч на лицо спящего. «Будь прославлен в веках», — прозвучало шипящим шепотом у края светильни, — и Огонь потух: он убил себя слезами, Тьма попробовала: нельзя ли дальше? Можно: сомкнулась.

Старец Эсхил беспокоило застонал во сне: ему снилось — трагедия о Прометее, принесшем огонь, встречена тихим, но злобным шипением: ошккана.

## 5. Александр Александрович Фадеев

### Молодая гвардия

Вперед, заре навстречу, товарищи в борьбе!  
Штыками и картечью проложим путь себе...  
Чтоб труд владыкой мира стал  
И всех одну семью спаял,  
В бой, молодая гвардия рабочих и крестьян!

*Песня молодежи*

### ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

#### Глава первая

— Нет, ты только посмотри, Валя, что это за чудо! Прелесть! Точно изваяние... Ведь она не мраморная, не алебастровая, а живая, но какая холодная! И какая тонкая, нежная работа, — человеческие руки никогда бы так не сумели. Смотри, как она покоится на воде, чистая, строгая, равнодушная... А это ее отражение в воде, — даже трудно сказать, какая из них прекрасней, — а краски? Смотри, смотри, ведь она не белая, то есть она белая, но сколько оттенков — желтоватых, розоватых, каких-то небесных, а внутри, с этой влагой, она жемчужная, просто ослепительная, — у людей таких и красок и названий-то нет!..

Так говорила, высунувшись из ивового куста на речку, девушка с черными волнистыми косами, в яркой белой кофточке и с такими прекрасными, раскрывшимися от внезапно хлынувшего из них сильного света, повлажневшими черными глазами, что сама она походила на эту лилию, отразившуюся в темной воде.

— Нашла время любоваться! И чудная ты, Уля, ей-богу! — отвечала ей другая девушка, Валя, вслед за ней высунувшая на речку чуть скуластое и чуть курносенькое, но очень миловидное свежей своей молодостью и добротой лицо. И, не взглянув на лилию, беспокоило поискала взглядом по берегу девушек, от которых они отбились. — Ау!..

— Ау... ау... уу! — отозвались на разные голоса совсем рядом.

— Идите сюда!.. Уля нашла лилию, — сказала Валя, любовно-насмешливо взглянув на подругу.

И в это время снова, как отзвуки дальнего грома, послышались перекаты орудийных выстрелов — оттуда, с северо-запада, из-под Ворошиловграда.

— Опять!

— Опять... — беззвучно повторила Уля, и свет, с такой силой хлынувший из глаз ее, потух.

— Неужто они войдут на этот раз! Боже мой! — сказала Валя. — Помнишь, как в прошлом году переживали? И все обошлось! Но в прошлом году они не подходили так близко. Слышишь, как бухает?

Они помолчали прислушиваясь.

— Когда я слышу это и вижу небо, такое ясное, вижу ветви деревьев, траву под ногами, чувствую, как ее нагрело солнышко, как она вкусно пахнет, — мне делается так больно, словно все это уже ушло от меня навсегда, навсегда, — грудным волнующимся голосом заговорила Уля. — Душа, кажется, так очерствела от этой войны, ты уже приучила ее не допускать в себя ничего, что может размягчить ее, и вдруг прорвется такая любовь, такая жалость ко всему!.. Ты знаешь, я ведь только тебе могу говорить об этом.

Лица их среди листвы сошлись так близко, что дыхание их смешивалось, и они прямо глядели в глаза друг другу.

У Вали глаза были светлые, добрые, широко расставленные, они с покорностью и обожанием встречали взгляд подруги. А у Ули глаза были большие, темно-карие, — не глаза, а очи, с длинными ресницами, молочными белками, черными таинственными зрачками, из самой, казалось, глубины которых снова струился этот влажный сильный свет.

Дальние гулкие раскаты орудийных залпов, даже здесь, в низине у речки, отдававшиеся легким дрожанием листвы, всякий раз беспокойной тенью отражались на лицах девушек.

— Ты помнишь, как хорошо было вчера в степи вечером, помнишь? — понизив голос, спрашивала Уля.

— Помню, — прошептала Валя. — Этот закат. Помнишь?

— Да, да... Ты знаешь, все ругают нашу степь, говорят, она скучная, рыжая, холмы да холмы, и будто она бесприютная, а я люблю ее. Помню, когда мама еще была здоровая, бывало, она работает на баштане, а я, совсем еще маленькая, лежу себе на спине и гляжу высоко-высоко, думаю, ну как высоко я смогу посмотреть в небо, понимаешь, в самую высочину? И мне вчера так больно стало, когда мы смотрели на закат, а потом на этих мокрых лошадях, пушки, повозки, на раненых... Красноармейцы идут такие измученные, запыленные. Я вдруг с такой силой поняла, что это никакая не перегруппировка, а идет страшное, да, именно страшное, отступление. Поэтому они и в глаза боятся смотреть. Ты заметила?

Валя молча кивнула головой.

— Я как посмотрела на степь, где мы столько песен спели, да на этот закат — и еле слезы сдержала. А ты часто видела меня, чтобы я плакала? А помнишь, когда стало темнеть?.. Они всё идут, идут в сумерках, и все время этот гул, вспышки на горизонте и зарево, — должно быть, в Ровеньках, — и закат такой тяжелый, багровый. Ты знаешь, я ничего не боюсь на свете, я не боюсь никакой борьбы, трудностей, мучений, но если бы знать, как поступить... Что-то грозное нависло над нашими душами, — сказала Уля, и мрачный, тусклый огонь позолотил ее очи.



— А ведь как мы хорошо жили, ведь правда, Улечка? — сказала Валя с выступившими на глаза слезами.

— Как хорошо могли бы жить все люди на свете, если бы они только захотели, если бы они только понимали! — сказала Уля. — Но что же делать, что же делать! — совсем другим, детским голоском нараспев сказала она, заслышав голоса подруг, и в глазах ее заблестело озорное выражение.

Она быстро сбросила туфли, надетые на босу ногу, и, подхватив в узкую загорелую жменю подол темной юбки, смело вошла в воду.

— Девочки, лилия!.. — воскликнула выскочившая из кустов тоненькая, гибкая девушка с мальчишескими отчаянными глазами. — Нет, чур моя! — взвизгнула она и, резким движением подхватив обеими руками юбку, блеснув смуглыми босыми ногами, прыгнула в воду, обдав и себя и Улю веером янтарных брызг. — Ой, да тут глубоко! — со смехом сказала она, провалившись одной ногой в водоросли и пятясь.

Девушки — их было еще шестеро — с шумным говором высыпали на берег. Все они, как и Уля, и Валя, и только что прыгнувшая в воду тоненькая девушка Саша, были в коротких юбках, в простеньких кофтах. Донецкие каленые ветры и палящее солнце, будто нарочно, чтобы оттенить физическую природу каждой из девушек, у той позолотили, у другой посмуглили, а у иной прокалили, как в огненной купели, руки и ноги, лицо и шею до самых лопаток.

Как все девушки на свете, когда их собирается больше двух, они говорили, не слушая друг друга, так громко, отчаянно, на таких предельно высоких, визжащих нотах, будто все, что они говорили, было выражением уже самой последней крайности и надо было, чтобы это знал, слышал весь белый свет.

— ...Он с парашютом сиганул, ей-богу! Такой славненький, кучерявенький, беленький, глазки, как пуговички!

— А я б не могла сестрой, право слово, — я крови ужас как боюсь!

— Да неужто ж нас бросят, как ты можешь так говорить! Да быть того не может!

— Ой, какая лилия!

— Майечка, цыганочка, а если бросят?

— Смотри, Сашка-то, Сашка-то!

— Так уж сразу и влюбиться, что ты, что ты!

— Улька, чудик, куда ты полезла?

**Примечание: Участник олимпиады выбирает для написания отзыва один из предложенных текстов.**